

Густавъ Шпетъ. *Очерки развитія русской философіи*. Первая часть. Петербургъ 1922 Стр. XVI-350

Книга, къ сожалѣнію, поздно и лишь въ очень небольшомъ количествѣ экземпляровъ проникшая за предѣлы Совѣтской Россіи. Между тѣмъ именно эта книга заслуживаетъ быть прочтена вслѣдствіе: и философомъ, и историкомъ, и историкомъ литературы, и просто мыслящимъ интеллигентомъ. Прежде всего — это не только «очеркъ исторіи русской философіи», но и крупное — красочное и яркое — публицистическое произведеніе, выдержанное в благородныхъ тонахъ философской публицистики. Содержание книги — не только исторія русской философіи, но и смыслъ этой исторіи, не только судьба русской философіи, но и философія русской судьбы. Вторымъ моментомъ, заставляющимъ особенно настоятельно рекомендовать общему вниманію книгу Шпета, является то строгое благородство стиля, съ которымъ она написана. Авторъ мыслитъ о вопросахъ, которые онъ, какъ то видно изъ книги, остро и болѣзненно переживаетъ. Но вся сила этого переживанія не выводитъ книгу изъ плоскости философскаго размышленія и не заставляетъ ее спуститься въ сферу той «потаковки мянній», до которой такъ часто — и увь такъ охотно — спускаются теперь и писатели, и ученые, и философы. Заслуга г. Шпета не равнодушіе и безстрастіе (сомнительная добродѣтель!), а умѣнье удержаться въ предѣлахъ чисто интеллектуальной страстности, не разбить филигранной работы мысли порывами настроенія и, прежде всего, настроенія политическаго.

Для спеціалиста и читателя со спеціальнымъ интересомъ къ исторіи русской мысли, книга Шпета — богатая сокровищница фактовъ, среди которыхъ много совершенно новаго матеріала, безпристрастно написанный очеркъ — въ вышедшей пока первой части — зачатковъ философской мысли въ Россіи. Формулировки ясны, четки и глубоки. Мимоходомъ брошенъ и намѣченъ рядъ проблемъ. Передъ историкомъ и историкомъ литературы отчетливо поставлены проблемы проникновенія въ русскую мысль тѣхъ или иныхъ «западныхъ вліяній». Здѣсь было бы бесполезно давать отчетъ обо всемъ богатствѣ содержанія книги. — Фактический матеріалъ переплетенъ въ книгѣ съ рядомъ мыслей, подчасъ лишь полупуто брошенныхъ, но дающихъ въ своей совокупности опытъ философіи русской культуры. И именно эти вскользь брошенные мысли придаютъ книгѣ, остающейся крупнымъ научнымъ явленіемъ, — не менѣе крупное публицистическое значеніе.

Собственно, для Шпета — русской философіи еще не было и нѣтъ. Его книга — исторія «наканунѣ» русской философіи. Но это «наканунѣ» развивалось въ обостренной до трагизма ситуаціи, — философія, теоретическое, «чистое» мышленіе, вынуждена была зародиться и расти въ атмосферѣ принципиально отрицающей возможность и необходимость «чистого», теоретическаго, философскаго мышленія. Страницы, характеризующія эту ат-

мосферу, принадлежать къ наиболѣе яркимъ въ книгѣ. Русская духовная атмосфера была атмосферой, въ которой еще не выкристаллизовались, не отдѣлились другъ отъ друга понятія теоретическаго и практическаго, понятія истиннаго и хорошаго, «умнаго» и «добраго». Мало того, если даже подымались до этого различенія, то только, чтобы поставить практическое, доброе, хорошее *выше* теоретическаго, истиннаго, правильнаго. Наука, философія знанія должны были служить добру, быть полезны, «хорошіе люди должны командовать умными». Такъ знаніе стало неавтономнымъ, было поставлено въ зависимость отъ принципа пользы — «не только всё правительства и всегда въ Россіи смотрѣли на науку съ утилитарной точки зрѣнія, но въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ такъ же смотрѣло и смотритъ само русское общество». Правительственной интеллигенціи наследовала нигилистическая... оппозиціонная правительственной, но столь же порабошенная утилитаризмомъ, хотя и съ прямо противоположнымъ пониманіемъ пользы и службы людямъ». «Общая формула утилитарности стала лозунгомъ дня, — утилитарность въ искусствѣ, литературѣ, наукѣ; философіи — «ненасытная утилитарность» (Пироговъ)... Арбитры утилитарности засѣдали въ журнальныхъ редакціяхъ, откуда неслись по Россіи въ свистѣ и улюлюканья ихъ интеллигентскіе приговоры... И вотъ въ русскомъ самосознаніи переплелись Гоголь и Бѣлинскій, Толстой и Ткачевъ, Розановъ и Чернышевскій, Писаревъ и наши дни, когда въ штукатурку стараго Московскаго Университета втѣлена въ кудряшкахъ эпитаграмма: «Дѣло науки — служить людямъ» — такъ теоретическое знаніе было сквано игомъ практическихъ требованій съ двухъ сторонъ — со стороны правительства и со стороны оппозиціонной интеллигенціи, теоретическая мысль — и въ первую очередь философія — была стѣснена на задворки и взята подъ двойную суровую цензуру. О цензурѣ правительственной — извѣстно достаточно. Цензура оппозиціонной интеллигенціи была «настолько строже правительственной, насколько неписанный законъ обязательнѣе писанаго и насколько убѣжденный доброволецъ злѣе наемнаго бандита». — *Предпосылкой и слѣдствіемъ* такого положенія съ неизбѣжностью было, что русская культура — правительственная и интеллигентская — одинаково была «культурой невѣжества», «невѣжасія» — «нашъ общественный и государственный порядокъ всегда былъ основанъ на невѣжествѣ. Создавалась традиція невѣжества. Наша исторія есть организація природнаго, стихійнаго русскаго невѣжества...» — «Вездѣ въ исторіи борьба между культурою и государствомъ... У насъ эта борьба выливается въ парадоксальную форму препирательства между невѣжественнымъ государствомъ, въ лицѣ правительства, и свободною культурою невѣжества, въ лицѣ оппозиціонной интеллигенціи». — Мы не можемъ здѣсь развернуть всю тонкую діалектику развитія этой проблемы у г. Шпета. Несомнѣнно одно: въ центрѣ ея вниманія столь центральная проблема, которую болѣетъ современная, какъ и



старая Россія, — проблема «Россія и культуры», проблема для насъ, русскихъ интеллигентовъ, транспонируемая въ иную: «мы и культура», т. е., «русская интеллигенция и культура». Острая и четкая постановка этой проблемы дѣлаетъ книгу Шпета — вторюемъ еще разъ — заслуживающей самого большого и серьезнаго вниманія.

Мы позволимъ себѣ здѣсь лишь нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній. Отдавая должное всей суровой серьезности стиля книги, все-таки нельзя не замѣтить, что по отношенію къ русскому «просвѣщенству» авторомъ допущено нѣкоторое преувеличеніе. Первая часть доведена лишь до начала 40-хъ годовъ, но уже сейчасъ можно предвидѣть, что для автора русское просвѣщенство *есть* философія. Между тѣмъ при всемъ, несомнѣнно, антифилософскомъ пафосѣ «просвѣщенства» — оно было именно какою-то «пропедевтической» стадіею русской умственной жизни. Въ чистомъ «нигилизмѣ» горѣлъ неосознаваемый пламень истины. Не только Бѣлинскій и Чернышевскій, но и Нечаевъ и Ленинъ въ своей вѣрѣ въ истину и въ *свою* служеніи ей (хотя бы истина и сливалась съ пользой, добромъ, человѣкомъ, партіей или подчинялась имъ) образуютъ какую-то необходимую (хотя бы и «отрицательную») ступень русскаго философскаго сознанія. Оцѣнка русскаго философскаго прошлаго, какъ невѣжества, «невѣгласія» притуляетъ до невѣстной степени восприимчивость Шпета къ культурнымъ явленіямъ, не вмѣщающимся въ эту схему. Шпетъ обходитъ молчаніемъ русскую науку (Лобачевскій), пренебрежительно проходитъ мимо масоновъ (къ которымъ какъ бы ни относиться, но нельзя отрицать, что они были русломъ, по которому протекали въ Россію нѣкоторыя философскія идеи), ограничивается суммарною и бѣглою характеристикою украинской религіозно-философской жизни XVII-XVIII вѣка (проходитъ мимо Петра Могилы и широкимъ замахомъ перечеркиваетъ Сковороду — «не философъ!»), не видитъ ничего заслуживающаго вниманія во всей исторіи сентъ (тамудическія и западныя вліянія)... Этотъ списокъ можно бы было умножить. Но, по существу, эти пробѣлы не роютъ значенія книги и могутъ представить лишь desiderata для другихъ изслѣдователей. Серьезнѣе дѣло обстоитъ съ вопросомъ объ ограниченіи рамокъ изслѣдованія. Въ «Очеркѣ» нашлось мѣсто по преимуществу для цеховыхъ философовъ или во всякомъ случаѣ для мыслителей, сознавшихъ свое философское «призваніе». Слѣдовательно, въ рамкѣ «очерка» остаются все мыслители-поэты, мыслители-писатели... Конечно, въ философской средѣ нѣмецкаго XIX вѣка, скажемъ Веневитиновъ или Баратынскій не много бы значили, но въ Россіи именно этими путями — черезъ поэтовъ, писателей и публицистовъ — вливалась въ сознаніе широкихъ круговъ философская мысль. Отказъ отъ освѣщенія философскихъ возрѣній или виѣфилософской мудрости, скажемъ, Гоголя или Достоевскаго (а ихъ обойдетъ, очевидно, Шпетъ въ слѣдующихъ томахъ) означаетъ попросту, что исторія русской мысли прослѣ-

живается въ «Очеркѣ» лишь на побочныхъ ея проселочныхъ путяхъ. Такъ, отчасти, это уже и въ этомъ томѣ. — Все эти замѣчанія сводятся, въ существѣ, къ одному: Шпетъ не вѣрнѣе въ то, что истина живетъ, хотя бы въ уродливыхъ и искаженныхъ формахъ, всюду: и въ «просвѣщенствѣ», отрицающемъ автономію науки и философіи, и въ невѣгласіи, живущемъ смутною и недоступною ему по смыслу символическою идеею, ключъ къ которымъ потеряны (отцы церкви — въ древней Руси, философія Запада — въ масонствѣ и т. п.), и въ «ненаучномъ» искусствѣ, литературѣ, публицистикѣ. И иногда — истина тамъ живѣе, полнѣе и глубже, чѣмъ въ автономныхъ по формѣ, но безпомощныхъ и мертвыхъ по духу школьныхъ мудрствованіяхъ философовъ. За послѣдними Шпетъ слѣдить. И дѣлаетъ это съ любовью, интересомъ и глубокимъ пониманіемъ. И ученый и каждый читатель поблагодарить его за это. Но напрасно онъ закрываетъ себѣ доступъ въ смежныя съ философіей и родныя ей сферы, которыя для исторіи русской мысли все еще сохраняютъ огромное значеніе. Стоя твердо на почвѣ научной философіи, можно все же видѣть и вѣрить, что и Пушкинъ, и Словорода, и Достоевскій, и сектанты вѣщали, часто не сознавая того сами, о философской истинѣ.

## II. Прокофьевъ

Проф. Карсавинъ. *Джордано Бруно*. Берлинъ, изд. «Облискъ». 1923

Книга проф. Карсавина о Джордано Бруно (кстати, почему Карсавинъ придерживается невѣрной и необычной графіи «Джордано») заполнитъ крупный пробѣлъ въ русской историко-философской литературѣ. Глубокое знаніе философскихъ и теологическихъ ученій еще столь недавно такъ основательно забытаго и презираемаго средневѣковья — «схоластики темныхъ вѣковъ» позволило Карсавину правильно, какъ намъ кажется, понять безысходную трагедію яркой и противорѣчивой, спутанной и неясной — какъ самъ онъ и какъ его время — философіи Бруно, и на примѣрѣ Бруно пересмотрѣть и провернть ходячія школьныя мнѣнія о «золотомъ вѣкѣ» Ренессанса.

И въ освѣщеніи Карсавина Ренессансъ является не столько вѣкомъ возрожденія, сколько вѣкомъ упадка и распада, вѣрнѣе, того и другого вмѣстѣ. Вполнѣ правильно указываетъ онъ на тѣсную связь всей «новой» философіи Бруно съ ученіями средневѣковья, и раньше и прежде всего съ ученіемъ гениальнаго завершителя схоластики Николая Кузанскаго — показываетъ, что несмотря на шумливую и нескромную борьбу съ аристотеликами-педантами-схоластиками, несмотря на квасливое утвержденіе собственного превосходства и собственной оригинальности и гениальности, часто вводившей въ заблужденіе историковъ XIX в. — все почти позитивное въ мышленіи Бруно — и не одного только Бруно — является часто лишь ослабленнымъ отзвукомъ глубо-